

ЭДУАРД ФИЛАТЬЕВ

ГЛАВНАЯ ТАЙНА ГОРЛАНА-ГЛАВАРЯ



1922 - 1926

ВЗОШЕДШИЙ

САМ

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЭФФЕКТ ФИЛЬМ

Эдуард Филатьев
Главная тайна горлана-главаря. Взошедший сам
Серия «Главная тайна горлана-главаря», книга 3

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21232287

Главная тайна горлана-главаря. Взошедший сам: ЭФФЕКТ ФИЛЬМ;

Москва; 2016

ISBN 978-5-4425-0010-3

Аннотация

О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи». Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы. Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это

сделали его современники. В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая. Бунт в «семье» | 6 |
| Глава первая. Разлад в семействе | 6 |
| Лекции поэта | 6 |
| Лилино недовольство | 11 |
| «Загадки» или «тайна»? | 16 |
| «Чрезвычайная» романтика | 19 |
| Жизнь порознь | 26 |
| «Одинокий» творец | 29 |
| «Свои» и «чужие» | 35 |
| Жизнь продолжается | 38 |
| Конец разлуке | 45 |
| «Читка» поэмы | 48 |
| 1800 строк | 52 |
| Попытки понять | 54 |
| Уайльд и Маяковский | 58 |
| Содержание поэмы | 63 |
| Мнения слушателей | 74 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 75 |

Эдуард Филатьев
Главная тайна горлана-
главаря. Книга третья.
Взошедший сам

© Э. Филатьев, 2016

© ООО «ЭФФЕКТ ФИЛЬМ», 2016

* * *

*Посвящаю моему внуку Константину
Дмитриевичу Малёнкину*

Часть первая. Бунт в «семье»

Глава первая. Разлад в семействе

Лекции поэта

13 декабря 1922 года Маяковский вернулся в Москву из-за границы. Прежняя жизнь в квартире, что в Водопьяном переулке (с ежедневным приёмом гостей), возобновилась. Петра Незнамова познакомили с Лилей Брик, и наблюдательный молодой человек сразу же отметил особое отношение к ней Маяковского:

«...к Лиле Брик он относился замечательно, и забота о том, чтоб ей было хорошо, была одной из основных и постоянных его житейских забот».

А чтобы Лили Юрьевне «было хорошо», надо было писать очень хорошие стихи. И Владимир Владимирович принялся сочинять их. Об этом – тоже Пётр Незнамов:

«В комнате танцевали, шумели, играли на рояле, а Маяковский тут же, положив листок бумаги на крышку этого самого рояля, записывал только что родившиеся строфы стихотворения...»

Иногда Маяковский предлагал тут же прослушать со-

*бравшимся новорождённое стихотворение, и тогда гипербо-
лы в косую сажень в плечах и образы, один другого удачнее,
полные свежести и злобы дня, или завоёвывать слушате-
ля. И все мы аплодировали автору, написавшему свою вещь
в столь некабинетной обстановке».*

Через неделю после приезда Маяковского состоялось его первое выступление в Политехническом музее. Лекция называлась «Что делает Берлин?». Присутствовавшему на ней Петру Незнамову запомнилось, как поэт...

«...крыл эмигрантов, а о Саше Чёрном выразился: «Когда-то злободневный, а теперь озлобленный». Фридрих-штрассе из-за избытка на этой улице съехавшихся нэпманов он называл: «Нэпский проспект»».

Одесская газета «Известия» тоже поместила отчёт о том мероприятии:

«Маяковский дал в своей лекции в Москве рельефную картину жизни берлинской литературной эмиграции, которая обслуживает кварталы, где живёт безжавшая буржуазия, кварталы, так и прозванные в Берлине – Нэпский проспект.

На крайнем правом фланге, – говорит в своей лекции Маяковский, – стоит Андрей Белый. Он поистине теперь такой белый, что даже кажется чёрным.

Игорь Северянин продаёт своё перо распивочно и на вынос за эстонскую похлёбку и пишет, что он «не может признать советское правительство, которое лишило его уюта, комфорта и субсидии!»

Далее идёт группа сменовеховских писателей, которые, как говорит Маяковский, сменили вехи, готовят новые произведения и на этих своих «красных сочинениях» хотят, как на белом коне, въехать в Москву для занятия ответственных должностей.

Но русским эмигрантам, живущим в Берлине, особенно трудовой интеллигенции, сменяющей вехи, уже надоели эти белые и голубые писатели. Они соскучились уже по новой русской московской литературе. И потому с таким вниманием слушают они и Маяковского, ругающего их, и Есенина, смотрят жадно картины Малявина и Кустодиева, жадно раскупают все новые издания Москвы...

Эмигрантская литература не дала ни одного крупного произведения.

Литературный костёр эмигрантищины чахнет и дымит угаром догорающего костра...

Литература «Нэпского проспекта» бедна, скучна и бесцветна. Свет идёт с Востока».

Казалось бы, самая обычная лекция – именно та, которая была нужна стоявшим у власти большевикам: на Западе всё плохо, всё «*чахнет и дымит угаром*». Единственное, что удивляет – это отношение Маяковского к Белому и Северянину. Первый, как мы помним, восхищался стихами Маяковского, второй и вовсе был соратником футуристов. Но ради красного словца Владимир Владимирович не пожалел обоих.

А вот к Есенину, который тоже оказался за рубежом, Маяковский отнёсся благосклонно. Видимо, ему был известен «чрезвычайный» статус поэта-имажиниста.

А вот, что писали о лекциях Маяковского его биографы и один его современник.

Начнём с Аркадия Ваксберга:

«Не дав себе покоя ни на день, Маяковский сразу же окунулся в бурную общественную жизнь. С интервалом в несколько дней дважды выступал в Политехническом. Первая лекция называлась «Что делает Берлин?». Вторая – «Что делает Париж?». Одновременно очерки о парижских его впечатлениях стали публиковаться в самой популярной ежедневной газете «Известиях» – они имели шумный успех».

Бенгт Янгфельдт:

«Интерес к рассказам Маяковского о первых поездках за границу был огромен. 24 декабря «Известия» опубликовали его репортаж «Париж (Записки Людогуса)», а через три дня – «Осенний салон»».

Юрий Анненков:

«Его впечатления, опубликованные в «Известиях», свидетельствовали ещё раз о его наивности и почти детской эгоцентричности».

Нелишне напомнить, что эта пора для страны Советов была судьбоноснейшей. Ведь рядом с Политехническим музеем, в Большом театре, шли последние приготовления к Съезду Советов, на котором Ленин собирался сделать доклад и

объявить в нём об образовании первого в мире пролетарского государства, в названии которого слова «Россия» не было – Союза Советских Социалистических Республик.

Но в планы вождя вмешалась болезнь, Ленин слёг в постель в своей кремлёвской квартире и готовился диктовать свои «Письма съезду», взбудоражившие впоследствии всю партию большевиков.

Вместо заболевшего Владимира Ильича страной стала управлять «тройка» партийных лидеров: Зиновьев, Каменев и Сталин. Первые двое отдавали команды, третий (с помощью мощного бюрократического партийного аппарата, которым он управлял) проводил эти команды в жизнь.

О важных изменениях в жизни страны Советов писали тогда все газеты, эти новости всюду обсуждались. Поэтому лекции Маяковского о том, что происходит где-то за рубежом, казалось, мало кого должны были заинтересовать. Однако москвичи, которых (как и прочих россиян) за границу не выпускали, хлынули послушать рассказ поэта-путешественника.

Бенгт Янгфельдт:

«На лекциях Маяковского «Что делает Берлин?» и «Что делает Париж?» в Политехническом музее порядок поддерживала конная милиция. В битком набитом зале царил полный хаос, на каждом стуле сидело по двое, публика перекрывала проходы, на краю эстрады сидели молодые люди, болтая ногами.»

Лили тоже находилась на сцене, за трибуной, где размещались стулья для друзей и знакомых.

В зале царила атмосфера ожидания, но когда Маяковский под гром аплодисментов стал рассказывать о Берлине, Лили возмутилась».

ЛИЛИНО НЕДОВОЛЬСТВО

Вот что о реакции Лили Юрьевны написал Александр Михайлов:

«Её возмутило выступление Владимира Владимировича, оно, по её мнению, было «с чужих слов». Уж не со слов ли Брика?»

Бенгт Янгфельдт:

«...вместо того чтобы говорить о собственных впечатлениях, он повторил то, что слышал от других; она ведь знала, что большую часть времени Маяковский провёл в ресторане или в гостиничном номере за игрой в покер. «Сначала я слушала, недоумевая и огорчаясь. Потом стала прерывать его обидными, но, казалось мне, справедливыми замечаниями»».

В результате разгорелся скандал. На вторую лекцию Лили вообще не пошла. А вечером состоялось бурное объяснение, которое Лили Юрьевна впоследствии описала так:

«Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий. Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Всё кончено. Ко всему привыкли –

к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живём в тепле. То и дело чай пьём. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет».

В завершении этого «длинного» разговора был объявлен двухмесячный разрыв в их отношениях. Кроме того, Маяковский должен был попросить прощения у Лили, «добровольно» удалиться в свою комнату в Лубянском проезде, не играть в карты, не ходить в гости и не встречаться с Лили.

Потом Лили Брик добавила:

«Такие разговоры часто бывали у нас последнее время и ни к чему не приводили. Но сейчас, ещё ночью, я решила – расстанемся хоть месяца на два. Подумаем о том, как же нам теперь жить».

Маяковский как будто даже обрадовался этому выходу из безвыходного положения. Сказал: «Сегодня 28 декабря. Значит, 28 февраля увидимся», – и ушёл».

Так выглядит эта история, составленная по рассказам, воспоминаниям и письмам Лили Юрьевны Брик. Однако Аркадий Ваксберг ко всем её «аргументам» отнёсся с большим недоверием:

«Даже при беглом взгляде на эти воспоминания нельзя не заметить, что они лишены какой-либо логики. Почему публичное выступление поэта, его рассказы о заграничных своих впечатлениях – почему они означают, что «мы тонем в быту», что «мы на дне»? С чего взяла она, что у Маяковско-

го не было своих впечатлений, что он рассказывает только «с чужих слов»? Даже если что-то узнал от чужих – всё равно ведь там же, в Берлине!»

Александр Михайлов тоже не увидел в поведении Маяковского ничего такого, в чём можно было бы упрекнуть поэта:

«...за что он должен был просить прощения у Лили Юрьевны – за то, что сделал доклад «с чужих слов»? Какая чушь!»

Не имея никаких других версий, которые как-то по-иному осветили бы сложившуюся ситуацию, Бенгт Янгфельдт (как и многие другие биографы Маяковского) всё-таки принял версию Лили Брик, написав:

«На самом деле все эти объяснения – и в письме к Эльзе, и более поздние, в воспоминаниях – были поэтизацией конфликта, имевшего гораздо более глубокие корни, а именно: несовместимость взглядов на любовь и ревность».

В этой фразе согласиться можно, пожалуй, лишь с тем, что у конфликта были *«гораздо более глубокие корни»*.

Попробуем их отыскать. Но сначала обратим внимание на то, что в тот момент и Лариса Рейснер тоже стала тяготиться своей благополучной жизнью, у неё тоже возникли трения с мужем, Фёдором Раскольниковым, и она написала своей матери в самом конце осени 1922 года:

«Милая мама, я выходила не за буржуа, ...а за сумасшедшего революционера. И в моей душе есть чёрные провалы,

что тут врать... Мы с ним оба делали в жизни чёрное, оба вылезали из грязи и «перепрыгивали» через тень... И наша жизнь – как наша эпоха, как мы сами... Во всей ночи моего безверия. Я знаю, что зиновьевский коммунизм (зиновьевское разложение партии), зиновьевское ГПУ, наука и политика – не навсегда.

Мы счастливы, что видели Великую Красную чистой, голой, ликующей навстречу смерти. Мы для неё умерли. Ну, конечно, умерли – какая же жизнь после неё святой, мучительной, неповторимой».

Владимир Маяковский и Лили Брик не видели «Великой Красной» армии, с ликованием шедшей на смертный бой. Но они видели и пережили нечто другое.

Вспомним о фактах, которые почему-то совсем не привлекались биографами к делу о внезапной ссоре между Маяковским и Лили Брик.

Факт первый: неожиданный спешный вояж поэта из Берлина в Париж, в который, по словам наблюдательного Ваксберга, он «осмелился» отправиться, «никого не спросясь». Отчего возникла такая спешка?

Второй факт: не менее неожиданное возвращение Бриков из Берлина в Москву. Они уехали «не дожидаясь Маяковского», «хотя он отсутствовал только неделю». С чего такая торопливость?

И, наконец, факт третий: откуда взялся это загадочный срок – два месяца, в течение которых Маяковский и Лили

Брик не должны были встречаться? Почему не полтора, не два с половиной, не три?

Ответы на эти загадочные вопросы искал и Аркадий Ваксберг. У него возникли темы для размышлений:

«Как разгадать эти загадки? Как разобраться в том, в чём запутались сами участники той драмы? Как проследить хронологию событий, относящихся к пресловутой «области чувств», не подверженных логике, не допускающих документального подтверждения или опровержения, не поддающихся холодному анализу мемуаристов, биографов и историков?..»

«Что же на самом деле побудило Лилю столь жестоким образом взять для их совместной любви долгий «тайм-аут» и понудить Маяковского искренне считать, что в разрыве повинен он сам, а отнюдь не она?»

А что, если никаких «загадок», в которых, по словам Ваксберга, «запутались сами участники той драмы», вообще не было? А была некая тайна, которую сами «участники» не хотели придавать гласности? Давно ведь установлено, что если в чьих-то объяснениях слишком много оправдательных доводов, то, скорее всего, ни один из них не является истинным. А настоящая причина случившегося просто утаивается.

Не случилось ли и здесь то же самое?

«Загадки» или «тайна»?

Для того чтобы установить (хотя бы приблизительно), что же на самом деле произошло с нашими героями, вспомним про Александра Михайловича Краснощёкова, оставленного нами в Москве. У него, как мы помним, летом 1922 года начался роман с Лили Брик, которая вдруг покинула его и отправилась в зарубежный вояж. Как складывались дальнейшие дела у этого «советского работника», как назван он в последнем томе 13-томного собрания сочинений Маяковского?

Ленин, ещё весной 1922 года попросивший своих соратников трудоустроить уволенного из Наркомфина Краснощёкова, сам неожиданно заболел. Сталин, которому политбюро поручило найти Краснощёкову достойную должность, целиком переключился на решение вопросов, связанных с лечением вождя. Таким образом, дело бывшего руководителя Дальневосточной республики как бы на время положили под сукно.

Но к осени 1922 года Ленин неожиданно поправился и стал готовиться к выходу на работу. И сразу вспомнил о Краснощёкове! В сентябре Александру Михайловичу предложили организовать Торгово-промышленный банк (Промбанк). Краснощёков засучил рукава, и уже в ноябре банк был организован. Александр Краснощёков его и возглавил.

Жизнь, вроде бы, наладилась.

Но вот что пишет в своих воспоминаниях Луэлла Краснощёкова:

«В декабре 1922 года мама с моим младшим братом уехали в США. Мне ещё не было 13 лет, брату – семи. Я сама выразила желание остаться с отцом».

Почему вдруг Гертруда Борисовна Тобинсон, взяв с собой сына, решила уехать из Советской России? В разгар гражданской войны она уже покидала Дальний Восток и возвращалась в Америку. Но как только обстановка в Сибири немного стабилизировалась, снова приехала к мужу – в Читу. Затем вместе с детьми переехала в Москву. Здесь их семья получила квартиру и стала устраивать свою жизнь. И вдруг жена директора Промбанка взяла и «уехала»?

Почему?

На этот вопрос Бенгт Янгфельдт ответил одной фразой:

«Нетрудно догадаться о причине, заставившей жену Краснощёкова покинуть Советский Союз».

В самом деле, Гертруда Борисовна вполне могла узнать о романе мужа с Лили Брик. Ходили также слухи и о том, что у Александра Михайловича был роман с его секретаршей Донной Груз.

Приказ Троцкого Дзержинскому – дискредитировать Краснощёкова никто не отменял. И всю информацию о романах Александра Михайловича, включая, надо полагать, многочисленные пикантные подробности, обидно коловшие

Гертруду Борисовну, ей поставляло ВЧК.

Осенью 1922 года чекисты, как мы помним, занимались выдворением из страны интеллигентской элиты. Александр Краснощёков был из той же когорты интеллектуалов, которые слишком много знали и очень мешали «*стать всем*» тем, кто ещё совсем недавно «*был ничем*». Но этого интеллектуала выслать было нельзя – ведь он был членом партии, к тому же высокопоставленным, и за него горой стоял сам Ленин! Однако подмочить репутацию Краснощёкова труда не составляло. И уже в конце осени в ГПУ с удовлетворением констатировали, что жена Краснощёкова вот-вот разорвёт отношения с мужем.

Тотчас же была дана команда приступить к операции, в которой Маяковский был лишним. Его присутствие в Москве (на первых порах, во всяком случае) посчитали нежелательным. И пребывавшему в Берлине поэту настоятельно порекомендовали совершить прогулку в какую-нибудь сопредельную с Германией страну, например, во Францию. Брикам же был отдан приказ немедленно вернуться на родину.

Получив французскую визу, Маяковский отбыл в Париж. А Брики, собрав вещи, укатили в Москву.

Вот так, скорее всего, всё и происходило.

Никаких документов, которые подтвердили бы это предположение, надо полагать, не существует – все «*рекомендации*» и «*приказы*» были наверняка устными.

Дальнейшие события подтверждают справедливость именно такого толкования того, как происходило подмачивание репутации директора торгово-промышленного банка.

«Чрезвычайная» романтика

Вернувшуюся в Москву Лили Брик вызвали в ГПУ (или какой-то ответственный чин, допустим, Яков Агранов, сам навестил её). Ей сообщили, что Краснощёков с женой разъехался, поэтому, дескать, пора приступать и показать всё, на что она способна. И Лили приступила.

О том, как она раскрутила свой роман с Краснощёковым, Янгфельдт пишет:

«Новость о связи между легендарным политиком и не менее знаменитой Лили сразу широко распространилась...

Лили и Краснощёков были одной из наиболее обсуждаемых любовных пар в Москве. Лили ничего не скрывала, это было бы против её природы и принципов».

И тут из Берлина вернулся (совершенно некстати) Маяковский. Сначала он, надо полагать, ни о чём не догадывался. И бросился организовывать свои выступления в Политехническом музее, писать заметки о зарубежных впечатлениях для «Известий». И как всегда просил Лили ему помочь (расставить знаки препинания в статьях, сходить в Политехнический и договориться там о чём-то).

Всё это, конечно же, мешало развёртыванию так успеш-

но начатой гепеушной «романтической» операции – на пути Лили Брик всё время возникал Маяковский. К тому же у поэта наверняка начали появляться какие-то подозрения (ему о чём-то вполне могли рассказать). Нужно было срочно найти способ для его удаления. Хотя бы на месяц-другой.

Кто придумал этот, скажем прямо, достаточно ловкий ход, начавшийся с публичного скандала во время лекции, а затем перешедший в ссору и разрыв?

Осип Брик? Яков Агранов? Сама Лили Юрьевна?

Нам вряд ли об этом суждено узнать.

Единственное, что известно абсолютно точно: в начале декабря 1922 года роман коммуниста-банкира и очаровательной женщины, лишённой каких бы то ни было комплексов, был в самом разгаре.

Но если сценарий этой «романтической» операции был разработан в чрезвычайных органах, то возникает вопрос: могла ли Лили Брик делиться с кем-то его подробностями? Даже годы спустя, когда писались её воспоминания? Конечно же, нет! Чекистские секреты полагалось хранить очень тщательно. И Лили Юрьевна их хранила. Сводя причины разрыва с поэтом к неурядицам быта, к слишком ревнивому характеру Маяковского, к его «омещаниванию» и так далее и тому подобное.

Даже Бенгту Янгфельдту, к которому Лили Брик относилась с большим уважением и которому доверяла, как никому другому, правда раскрыта не была.

А Маяковский был в курсе этого секрета?

Пожалуй, лишь ему одному Лили могла открыть истинную причину своего поведения, сказав, что получила приказ, который обязана выполнить. Поскольку служба у неё такая. Да и за зарубежные турне, плюс за те удовольствия, которые эти вояжи доставляют, тоже необходимо платить.

О реакции Маяковского на эти слова свидетельствует фраза из воспоминаний Лили:

«Оба мы плакали».

Когда кончается любовь, и один из влюблённых бросает другого, вдвоём, как правило, не плачут. Тому, кто уходит, нечего рыдать. Слезы роняет тот, кого покидают. А тут плакали оба.

Из-за чего?

Неужели из-за того, что (как утверждала Лили Брик)...

«...ко всему привыкли – к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живём в тепле. То и дело чай пьём»?

В такое объяснение трудно поверить.

Но в высказываниях Лили Брик есть одно ключевое слово, на которое почему-то никто не обратил внимания: **«революция»**.

С чего это вдруг Лили Юрьевна, никогда не интересовавшаяся политикой и не состоявшая членом партии, вспомнила об этом, таком далёком от её интересов понятии? И когда?! Во время разговора о любви! Выясняя отношения со

своим гражданским мужем.

Зачем употребила она это слово, абсолютно чуждое её лексикону?

Попробуем воспроизвести возможный ход диалога Маяковского и Лили Брик, диалога, который привёл к разрыву их отношений.

Как мы помним, сама Лили Юрьевна впоследствии написала:

«Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий».

С чего он начался?

Вполне возможно, что с вопроса, заданного Маяковским, который был удивлён странным поведением Лили:

– Что происходит, детик?

В ответ Лили Юрьевна могла сразу же рассказать об истинной причине происходящего: дескать, от Александра Краснощёкова ушла жена, что надо скрасить его одиночество и погасить огонь, бушующий в его душе.

В ответ на такое объяснение ещё более удивлённый Маяковский должен был задать резонный вопрос:

– А почему скрашивать одиночество чужого мужчины должна непременно его жена?

Вполне возможно, он вставил в свой вопрос и некое жаргонное слово, которым принято называть подобное поведение женщин.

– Да, – согласилась Лили Юрьевна. – Именно так *про это* и говорят. Мещане. Те, у кого любое отклонение от жизнен-

ных устоев встречается негодующим осуждением. А я иду на *это* во имя высоких идеалов!

Вот тут-то Лили Юрьевна и могла произнести ключевое слово:

– Идеалов *революции*! И подвигло меня на этот шаг учреждение, которое идеалы эти охраняет.

– Какое учреждение? – мог, не поняв, с удивлением спросить Маяковский.

– То, в котором служит Ося. Которое отправило его, меня и тебя за границу, дав нам возможность хоть немного пожить нормальной жизнью. Мы к этой жизни быстро привыкли. Думаем, что отныне так будет вечно. Друг к другу мы тоже привыкли! И к тому, что обуты, одеты, живём в тепле. Только и знаем, что чай пьём! Мы утонули в быту! Мы на дне! Забыв о том, что была революция, идеалам которой мы обязаны служить! И когда кто-то из нас начинает отдавать себя этому служению, омещанившееся окружение дружно осуждает отступника. А ты, вместо того, чтобы написать потрясающую вещь, которая воспевала бы революцию, служила бы ей, читаешь доклады с чужих слов! Мне кажется, Волосик, что ты ничего настоящего уже никогда больше не напишешь.

Произносимые Лили Юрьевой фразы совсем не обязательно придумала она сама. Ведь все эти слова были в поэме «IV Интернационал», в которой Маяковский громил мещан и мещанство. Например, такие строки об омещанившихся революционерах:

*«Что будет? / Будет спаньём, / едой
себя развлекать человечье быдло...
Уже настало. / Смотрите – / вот она!
На месте ваших вчерашних чаяний,
в кафках, / нажравшись пироженью рвотной,
Коммуну славя, расселись мещане.
Любовью / какой обеспечит Собес?!
Семашко ль поможет души калекам?!
Довольно! / Мы возьмёмся, если без
нас об этом подумать некому».*

Напомним, что Николай Александрович Семашко был наркомом здравоохранения РСФСР.

О том, что именно следует сказать Маяковскому, Лили Юрьевне могли подсказать и мудрые чекисты. И слова эти она произнесла. Били они без промаха. Обезоруживая всякого, кто хотел бы заклеить поведение Лили Брик. С неумолимой логикой произнесённых ею фраз спорить было бессмысленно, так как любой оправдательный аргумент логика эта била наповал.

Отсюда – и растерянность Маяковского. Отсюда – его убеждённость в своей вине. Отсюда – его письма к Лили Юрьевне с извинениями.

Тот разговор вели между собой два чекиста «*особого отряда*». И слёзы в их глазах становятся понятными. Обоим было тяжело. Но нарушить отданный им приказ они не мог-

ли. Не имели на это права! И оба принялись его выполнять.

Какое-то время спустя Маяковский написал Лили Юрьевне (расставляя в письме запятые было уже некому):

«У тебя не любовь ко мне у тебя – вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть даже большое) но если я кончаюсь то я вынимаюсь как камень из реки, а твоя любовь опять всплывает над всем остальным. Плохо это? Нет тебе это хорошо я бы хотел так любить».

Известна и другая фраза поэта, написанная в ту же пору:
«Я ничего с собой не сделаю – мне через чур страшно за маму и люду...»

«Чересчур» написано в два слова, а *«Люда»* – с маленькой буквы. Такая была у поэта грамотность.

А вот что писала о Маяковском (как бы в ответ на его слова о ней) Лили Брик:

«Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не счесть людей, преданных ему, любивших его. Но всё это – капля в море для человека, у которого «ненасытный вор в душе», которому нужно, чтобы читали те, кто не читает, чтобы пришёл тот, кто не пришёл, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит».

Как видим, жизнь продолжалась. Но это была особенная жизнь, совсем не похожая на ту, что протекала раньше.

Жизнь порознь

Итак, Маяковский и Лили Брик разошлись. Каждый – по своей квартире (или, если точнее, каждый – по своей комнате в разных квартирах). Поэт принялся сочинять нечто «*настоящее*» – поэму о своей несчастной любви, а Лили Юрьевна...

Вот что написала она в Париж сестре Эльзе:

«Я в замечательном настроении, отдыхаю. Тик мой совершенно прошёл. Наслаждаюсь свободой! Занялась опять балетом – каждый день делаю экзерсис. По вечерам танцую. Ося танцует идеально. <...> Мы завели себе даже тапёра. <...> Материально живу не плохо – деньги беру у Лёвочки – у него сейчас много».

«Лёвочка» – это всё тот же Лев Гринкруг, финансовый директор РОСТА, который стал по тем временам весьма зажиточным человеком.

Разрыв между Лили Брик и Маяковским всё-таки ошарашил их ближайших друзей. Эмигрант Виктор Шкловский писал из Берлина в Прагу Роману Яacobсону:

«Внимание! Лили разошлась с Маяковским. Она влюблена (навернула) в Кр<аснощёкова>. Эльзе этого не сообщай, если вообще с ней общаешься».

Слух о новом увлечении Лили Брик быстро распространился.

Аркадий Ваксберг:

«Роман Лили с Краснощёковым разворачивался в полную силу, он был у всех на виду, о нём судачила вся Москва – очень уж были заметны фигуры его участников. Каждая по-своему – и всё равно очень заметны».

Странно, что никто из биографов не сообщает о том, как реагировал на этот роман Маяковский, ведь какие-то слухи наверняка до него доходили (просто не могли не доходить). К такой открытости отношений Лили Брик и Краснощёкова, надо полагать, чекисты и стремились, когда затевали это «чрезвычайное» дельце.

Бенгт Янгфельдт (о том, как реагировала на людскую молву сама Лили Брик):

«Но если на сплетни вокруг этого романа она вряд ли обращала внимание, то слухи о растратах, которые начали муссироваться в связи с именем Краснощёкова, не могли её не беспокоить. Учитывая колоссальные суммы денег, которыми распоряжался Краснощёков в качестве директора Промбанка и генерального представителя Российско-американской промышленной корпорации, многим обвинения казались вполне правдоподобными. В любом случае распространение слухов свидетельствовало о том, что у Краснощёкова есть сильные враги в партийном и правительственном аппаратах».

Как видим, Бенгт Янгфельдт, даже признавая, что у Краснощёкова были опасные недруги, никакой «чекистской»

версии не выдвигал, а придерживался точки зрения Лили Брик: дескать, Маяковский «омещанился», и поэтому ей с ним пришлось разойтись.

И они расстались. На два месяца. Но почему именно на два?

Ваксберг предположил:

«Срок, скорее всего, выбран случайно. Так решила Лили, и это, стало быть, обсуждению не подлежит...»

Объяснение логичное и убедительное. Но возможно и другое предположение: двухмесячный срок был определён на Лубянке. Гепеушников, видимо, торопили, а за два месяца, считали они, можно дискредитировать кого угодно.

Разлад между Лили Юрьевной и Владимиром Владимировичем оттеснил на задний план (во всяком случае, для всего их окружения) те поистине судьбоносные события, которые происходили в стране. Во-первых, в конце декабря 1922 года состоялся Первый Всесоюзный съезд Советов, на котором было провозглашено создание нового государства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Доклад об этом сделал Лев Каменев. Выступивший на съезде первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Сергей Миронович Киров предложил ознаменовать создание СССР возведением гигантского памятника – Дворца Советов. Делегаты съезда встретили эти слова бурными аплодисментами.

Во-вторых, у Ленина, начитывавшего стенографистке

«Письма съезду», случился второй инсульт, и он надолго слёг в постель.

А Маяковский весь январь и февраль сочинял поэму о любви – ту самую, о намерении создать которую он объявил в «Я сам» ещё минувшим летом.

«Одинокий» творец

Чуть ли не все биографы Маяковского утверждают, что первые два месяца 1923 года он провёл в своей комнате-лодочке в Лубянском проезде, и там, обливаясь слезами, сочинял поэму о несчастной любви.

Но это не совсем так, если не сказать, совсем не так. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что поэт всё это время много и интенсивно работал. 4 января 1923 года в газете «Известия ВЦИК» было напечатано его стихотворение «Германия», в котором он делился впечатлениями о своей зарубежной поездке

*«Я видел – / цепенеют верфи на Одере,
я видел – / фабрики сковывает тишь.
Пусть – / не верю, / что на смертном одре
лежишь».*

И поэт дарил немцам «Рабочую песню», в которой говорил:

*«Терпите, товарищи, расплаты во имя...
За всё – / за войну, / за после, / за раньше,
со всеми, / с ихними / и со своими
мы рассчитаемся в Красном реванше...
Это тебе дарю, Германия!»*

В самом начале января Маяковский подал заявление в Агитационный отдел ЦК РКП(б) с просьбой разрешить ему от имени Левого фронта искусств (ЛЕФа) выпускать журнал «Лэф». К заявлению прилагалось подробное объяснение того, для чего он всё это затевает (то есть к чему стремится «Левый фронт»):

«а) Способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусства;

б) пересмотреть идеологию и практику так называемого левого искусства, отбросив от него индивидуалистические кривляния и развивая его ценные коммунистические стороны;

в) вести упорную агитацию среди производителей искусства за принятие коммунистического пути и идеологии... »

Далее шли ещё пять пунктов, изложенных в том же духе. Хотя этот «план» предполагавшегося к изданию журнала приведён в «Хронике жизни и деятельности Маяковского» как написанный им самим, перу поэта он, скорее всего, не принадлежал. Слишком заумно составлен, чересчур заполитизирован. Маяковский так никогда не говорил и уж тем более так не писал. Автором и составителем «плана» был, на-

до полагать, Николай Чужак, к тому времени приехавший в Москву и примкнувший к комфутам.

Маяковский в это время ещё писал и печатал в «Известиях» свои очерки о Париже и Берлине, а также сочинял книгу «Семидневный смотр французской живописи» (её рукопись он отправил потом в Госиздат).

16 января «Известия ВЦИК» опубликовали ещё одно стихотворение Маяковского, которое называлось «На цепь!». В нём речь шла о ситуации в стране Советов:



В. В. Маяковский в редакции газеты «Известия». Фото: Н. М. Петров. Москва, 1923.

*«Ещё не кончен труд,
ещё не раб неб.
Капитализм – спрут.
Щупальцы спрута – НЭП.*

*Мы идём мерно,
идём, с трудом дыша,
но каждый шаг верный
близит коммуны шаг.*

*Рукой на станок ляг!
Винтовку держи другой!
Нам покажут кулак,
мы вырвем кулак с рукой».*

Как видим, призывы поэта агрессивны, воинственны.

В тот же день (16 января) Агитационный отдел ЦК РК-П(б) провёл совещание по вопросу о Левом фронте искусств. Были приглашены Маяковский, Чужак, Брик и другие комфуты, заявленные членами редколлегии будущего журнала. Агитотдел постановил:

а) признать желательным и целесообразным поддержку издательства Левого фронта искусств;

б) включить издательство Лефа в ведение Госиздата;

в) предложить Госиздату приступить к изданию журна-

ла «Леф»... и содействовать выходу книг того же направления».

Таким образом, детище Маяковского попадало в распоряжение Государственного издательства (ГИЗа), которое, как мы помним, относилось к поэту-футуристу очень и очень прохладно. Не случайно Пётр Незнамов заметил:

«Не такое место был ГИЗ, чтоб легко было прошибить его. Но Маяковский – деятельный и заинтересованный – сделал и это».

17 января «Известия ВЦИК» напечатали стихотворение Маяковского с названием: «Товарищи! Разрешите мне поделиться впечатлениями о Париже и Моне». Моно – Московский отдел народного образования (Маяковский это слово склонял). Вот что в этом стихе говорилось:

*«Чуть с Виндавского вышел –
поборол усталость и лень я.
Бегу в Моно. / «Подпишите афиши!»
Рад Москве излить впечатления».*

Но оказалось, что в Моно сидят бюрократы:

*«Афиши обсуждаются / и единолично, / и вкупе...
Постоим... / и дальше в черепашьем марше!
Остановка: / станция «Член коллегии».
Остановка: / разъезд «Две секретарши»...
Ну и товарно-пассажирская элегия!»*

Ужаснувшийся числом тех, кто собирался утверждать его афишу, ставя на ней свою подпись, поэт высказал «мораль» своей басни:

*«...для сеятелей подписей:
чем сеять подписи – / хлеб сей».*

Но оказалось, что бюрократов хватает и в самом Лефе. В тот же день (17 января) у себя в комнате (в Лубянском проезде) Маяковский провёл совещание, в котором приняли участие члены редколлегии задуманного журнала. Во время обмена мнениями вспыхнул спор. Затеявший его Николай Чужак покинул своих собеседников, чуть ли не хлопнув дверью.

Что же не устроило возмутителя спокойствия?

«Свои» и «чужие»

Чуть позднее Чужак написал и опубликовал в «Правде» (в августе 1923 года) статью под заголовком «В драках за искусство (разные подходы к Лефу)», где рассказал о разногласиях в «окопах» Левого фронта:

«Левый фронт искусства переживает глубокий внутренний кризис. Идёт почти открытая борьба двух составных элементов Лефа: старого футуризма, додумавшегося головой, и под воздействием извне, до производственного искус-

ства, но отдающего производству только технику левой руки и явно путающегося между производством и мещанской лирикой, и производственным крыла Лефа, пытающегося сделать из теории пока ещё корявые и робкие, но уже актуально-практические выводы и – это особенно важно – ставящего ставку не на индустриальное и неизбежно яческое искусство спецов, а на идущее с низов и лишь нуждающееся в оформлении – творчество массы».

Всего две фразы. Но как безумно длинна вторая! И как заумно изложены в ней мысли автора!

Но Маяковский не терял надежды договориться с несогласным. И отправил вслед ушедшему письмо:

«Дорогой Чужак!

Письмо это пишу немедленно после Вашего ухода, пошлю Вам с первой возможностью...

Мне совершенно дико, что вот мы договорились с ЦК, с Гизом (часто с людьми эстетически нам абсолютно враждебными) и не можем договориться с Вами, таким испытанным другом и товарищем.

Я совершенно не могу угадать Ваших желаний, совершенно не могу понять подоплёки Вашей аргументации...

Но помните, что цель нашего объединения – коммунистическое искусство... – область ещё тёмная, не поддающаяся ещё точному учёту и теоретизированию, область, где практика, интуиция обгоняет часто головатейшего теоретика. Давайте

работать над этим, ничего не навязывая друг другу, взаимно илрифую друг друга: вы – знанием, мы – вкусом. Нельзя понять Вашего ухода не только до каких бы то ни было разногласий, но даже до первой работы...

Как бы Вы ни отозвались на моё письмо, спешу Вам «навязаться», несмотря ни на какие Ваши реплики, считаю (и, конечно, считаем) Вас по-прежнему другом и товарищем по работе.

Не углубляйте разногласий ощущениями. Плюньте на всё и приходите – если не договоримся, то хоть поговорим.

Жму руку и даже обнимаю.

Маяковский.

6 ч. 25 м. 22/1 – 23 г.».

Вот, оказывается, в чём была суть вспыхнувших разногласий. Чужак предлагал, чтобы журнал «Леф» провозгласил коммунистическое искусство сейчас же, сию минуту. Это кардинально расходилось с позицией Маяковского и его сторонников, считавших эту «область» ещё слишком «тёмной», не до конца изученной и поэтому недостаточно понятной.

Чужак в Леф вернулся. Но 22 января в Пролеткульте, где состоялось обсуждение первого номера готовившегося журнала, вновь вспыхнул спор. И снова с Чужаком. Пётр Незнамов вспоминал:

«Чужак сидел в Пролеткульте и редактировал журнал «Горн». Это был «Леф», как его понимал Чужак – вот это

действительно была скущица!

Я был на совещании в Пролеткульте... На этом совещании сотрудников журнала «Левф», или, как их сердито называл Чужак, «товарищей-гениев», «старых спецов художества» и «литераторов», – пытались уговорить принять, в подражание партии, жёсткие организационные формы, но Маяковский резко воспротивился этому. Чужаку не удалось повторить здесь своих Владивостокских неистовств, и игра в организацию не состоялась.

Подобные предложения превратить творческое содружество в организацию неоднократно... повторялись разными людьми. Но никогда они не имели успеха у Маяковского».

Пути Маяковского с его анархистскими взглядами и Николая Чужака, мыслившего по-большевистски, разошлись окончательно и бесповоротно. Этому больше всех был рад глава ЛЕФа, который, по словам Петра Незнамова, сравнивал Чужака...

«...с «почтовым ящиком для плохих директив». Но как только Чужак ушёл, Маяковский охарактеризовал положение блестящим: все вопросы решаются коротко, без споров».

Жизнь продолжается

23 января 1923 года Владимир Маяковский сдал издательству «Красная новь» рукопись сборника «Стихи о рево-

люции».

31 января отдал в «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП(б)» очерк «Сегодняшний Берлин» (его перепечатывали потом периферийные газеты).

2 февраля в газете «Известия» появился другой его очерк. «Париж (Театр Парижа)».

1 февраля был заключён договор с издательством «Круг» на сборник «До и после» («Маяковский улыбается, Маяковский смеётся, Маяковский издевается»). В предисловии поэт заявил:

«Я убеждён – в будущих школах сатиру будут преподавать наряду с арифметикой, и с неменьшим успехом. Особенно шалящие и резвые ученики будут выбирать смех своей исключительной специальностью. Будет, обязательно будет высшая смеховая школа».

Как видим, Маяковский не только проливал слёзы над рукописью создававшейся поэмы о несчастной любви, он успевал улыбаться, смеяться и даже издеваться. Пётр Незнамов, описывая посещения Маяковским издательства «Круг», особо отметил:

«Когда приходил Маяковский, в комнате сразу становилось тесно от него самого, от громады его голоса, от безапелляционности его принципиальных заявлений».

За время разлуки с Лили Брик поэт занимался очень многими и самыми разными делами, продолжая при этом сочинять свою поэму. 12 февраля Владимир Маяковский пере-

писал её от руки и поставил дату. В «Я сам» об этом сказано:
*«Написал: «Про это». По личным мотивам об общем бы-
те».*

13 февраля в «Бюллетене Прессбюро Агитотдела ЦК РК-П(б)» был опубликован очерк Маяковского «Парижские провинции».

23 февраля «Известия» напечатали ещё одно его стихотворение «Барабанная песня» (тоже весьма воинственное):

*«Если возждь зовёт,
рука, на винтовку ляг!
Вперёд, за взводом взвод!
Громче печать – шаг!..*

*Наша родина – мир.
Пролетарии всех стран,
ваши щит – мы,
вооружённый стан».*

В тот же день (23 февраля) в журнале «Красная Нива» появилась статья Маяковского «Революционный плакат».

25 февраля газета «Известия» поместила его стих: «Срочно. Телеграмма мусье Пуанкаре и Мильерану». Во Франции эту «телеграмму» прочли и взяли на заметку.

27 февраля «Бюллетень Прессбюро Агитотдела ЦК РК-П(б)» разослал по местным газетам агитационное стихотворение Маяковского «Про Фёклу, Акулину, корову и бога»,

иллюстрированное его же рисунками. Поэт рассказывал о деревенской женщине Фёкле и о её занедюжившей корове:

*«Известно бабе – / в таком горе
коровий заступник – / святой Егорий».*

Стихотворение же рекомендовало ей обращаться не к святому, а к Акулине:

*«Акулина дело понимала лихо.
Аж её прозвали / – «Тётя-большевиха».*

И Маяковский давал бабе Фёкле совет:

*«Болезням коровым – / не помощь бог.
Лучше / в зубы возьми ног пару
да бросайся / со всех ног –
к ветеринару».*

Сразу вспоминается Сергей Есенин, с удивлением спрашивавший, а что Маяковский в деревенских делах понимает. Но Владимир Владимирович на подобные вопросы внимания не обращал и продолжал сочинять стихи, учившие деревню уму-разуму.

А как в это время складывались отношения поэта с отвергнувшей его Лили Брик?

В квартиру на Водопьяном переулке он не заходил, но

непрестанно слал Лили Юрьевне (по её же словам)...

«...письма, записки, рисунки, цветы и птиц в клетках – таких же узников, как он. Большого клеста, который ел мясо, гадил как лошадь и прогрызал клетку за клеткой. <...> Когда мы помирились, я раздарила всех этих птиц. Отец Осипа Максимовича пришёл к нам в гости, очень удивился, что их нет, и спросил глубокомысленно: «В сущности говоря, где птички?»»

Казалось бы, интересный эпизод, относящийся ко времени разлуки разошедшихся супругов. Но существует другое воспоминание той же Лили Брик о тех же птичках:

«Одно время, в 1923 году, Маяковский увлекался птицами и купил их массу, самых разнообразных. Они быстро надоели ему, и он всех их выпустил на волю. Пришёл к нам как-то обедать отец Осипа Максимовича Брика и направился прямо к птичкам. Их не оказалось. У него сделалось страшно удивлённое лицо, он оглянулся на Маяковского и недоумённо спросил его: «В сущности говоря, где птички?» Вопрос этот показался Маяковскому необычайно забавно-глубокомысленным. Он долго носился с этой фразой, пока, наконец, не нашёл ей место в «Мелкой философии на глубоких местах»».

Эти две приведённые нами цитаты говорят о том, что к воспоминаниям Лили Брик следует относиться очень осторожно – уж очень по-разному описывала она события.

Что же касается стихотворения «Мелкая философия на

глубоких местах», то оно появилось два года спустя – во время пересечения поэтом Атлантического океана. Там есть такие строки:

*«Годы – чайки. / Вылетят в ряд –
и в воду – / брюшко рыбёшкой пичкать.
Скрылись чайки. / В сущности говоря,
где птички?»*

6 февраля 1923 года (в самый разгар двухмесячной разлуки с Маяковским) Лили написала Эльзе Триоле о том, как события могут развиваться дальше:

«Если увидит, что овчинка стоит выделки, то через два месяца я опять приму его. Если же – нет, то Бог с ним!»

И Лили Брик продолжала заниматься балетом, танцевала. И так «раскрутила» Краснощёкова, что гепеушники от свалившейся удачи радостно потирали руки. Да, они не могли арестовать высокопоставленного члена партии, но у них появилась возможность передать по лученные от этой «раскрутки» факты в карающий орган РКП(б) – Центральную Контрольную Комиссию (ЦКК). Её членом состоял Арон Александрович Сольц, которому и было поручено довести дело Промбанка до конца.

Началось следствие.

В ГПУ Лили Брик, надо полагать, поздравили с блестящим завершением порученного ей дела, сказав, что «овчинку» она «отделала» как надо, и что ей полагается за это на-

града.

О том, что операция ГПУ проходит успешно, было ясно уже 6 февраля, когда Лили писала сестре в Париж:

«Сейчас февраль. В начале мая думаем ехать. Значит, скоро увидимся».

Стало быть, Лили Юрьевну, в самом деле, наградили, пообещав ей зарубежный вояж. И это несмотря на то, что в самом начале 1923 года контролирование поездок за границу ещё более ужесточилось. Политбюро создало специальную Комиссию (Молотов, Литвинов, Уншлихт и ещё несколько человек) для выработки предложений по усилению слежки за работниками наркомата по иностранным делам. 8 февраля на заседании политбюро (в присутствии Зиновьева, Каменева, Рыкова, Сталина, Томского, Троцкого, Молотова, Калинина и Бухарина) было принято решение:

«2. О взаимоотношениях НКВД и ГПУ

а) Одобрив предложенные Комиссией меры для усиления контроля ГПУ над личным составом дипкурьерской части НКВД, признать необходимым оставить последнюю в фактическом подчинении НКВДу, как это было до сих пор.

б) О всех принимаемых на службу в НКВД сотрудниках НКВД обязан не позднее, чем за 3 дня до приёма сообщать ГПУ».

То есть попасть в число тех, кому дозволялось свободно разъезжать по заграницам, становилось всё труднее. Даже за дипкурьерами стали следить! Но к Лили Юрьевне Брик это

НЕ ОТНОСИЛОСЬ.

Конец разлуке

В Америке в это время гастролы Айседоры Дункан были запрещены.

Илья Шнейдер:

«Речи Айседоры, газетный шум привели к тому, что Дункан была лишена американского гражданства – «за красную пропаганду». Ей и Есенину было предложено покинуть Соединённые Штаты.

Уезжая из Америки, Дункан заявила журналистам:

– Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня.

Эти её слова были напечатаны в газетах наутро после отплытия Дункан и Есенина от берегов Америки».

Айседора и Сергей покинули Соединённые Штаты 3 февраля на пароходе «Георг Вашингтон».

А освобождённый из лубянской тюрьмы Яков Серебрянский устроился на работу – заведующим канцелярией нефтетранспортного отдела треста «Москвотоп». Его дела, вроде бы, пошли на лад, но в начале 1923 года он был заподозрен во взяточничестве и вновь арестован. Однако улики не под-

твердились, и взятого на поруки Серебрянского освободили. Кто-то опять вытащил его из гепеушных застенков. Кто? Наверняка всё тот же Яков Блюмкин.

28 февраля в 3 часа дня срок «разлуки» Лили Брик и Владимира Маяковского завершился. И Лили Юрьевна послала Владимиру Владимировичу короткое письмо:

«Волосик, детик, щеник, я хочу поехать с тобой в Петербург 28-го. Не жди ничего плохого! Я верю, что будет хорошо. Обнимаю и целую тебя крепко. Твоя Лили».

Обрадованный Маяковский купил два билета в международный вагон (с двухместными купе) поезда Москва-Петроград.

Незадолго до этого народный комиссар внутренних дел Феликс Дзержинский издал приказ о переименовании Николаевской железной дороги и Николаевского вокзала в Москве в Октябрьские.

Поэт отослал Лили Юрьевне её билет, написав:

«Дорогой Детик. Шлю билет. Поезд идёт ровно в 8 ч. Встретимся в вагоне».

Вслед за этим посланием полетело второе:

*««Мрачные дни миновали
час искупленья пробил»*

«Смело товарищи в ногу и т. д.»

*Целую твой <рисунок радостно улыбающегося щенка>
3 ч. 1 м. 28/11 23 г.»*

Лили Юрьевна отправилась на Октябрьский вокзал сто-

лицы. Провожавшая её Рита Райт постом вспоминала:

«Мы ехали на извозчике, было холодно, ветрено, но Лиля вдруг сняла шапочку, я сказала: «Киса, вы простудитесь», и она снова нахлобучила шапку, и видно было, как она волнуется».

А вот что запомнилось самой Лили Брик:

«Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона».

Рита Райт:

«Уходя, я обернулась и увидела, как Лиля идёт к вагону, а Маяковский стоит на площадке, не двигаясь, окаменев...»

Лили Брик:

«Как только поезд тронулся, прислонившись к двери, Володя прочёл мне поэму «Про это». Прочёл и облегчённо заплакался».

Других свидетельств об этой читке, разумеется, нет. Да их и быть не могло – ведь всё происходило с глазу на глаз. Поэтому нам не остаётся ничего иного, как поверить утверждению Лили Юрьевны, что всё происходило именно так. Ещё она написала:

«Не раз в эти два месяца я мучила себя упрёками за то, что Володя страдает в одиночестве, а я живу обыкновенной жизнью, вижу с людьми, хожу куда-то. Теперь я была счастлива. Поэма, которую я только что услышала, не была бы написана, если б я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит, может быть, громко,

но тогда это было именно так».

И вновь перед нами изощрённое лукавство. Ведь выходит, что агентесса ГПУ не только выполняла порученное ей ответственное задание, но и билась ещё за «идеалы человечества». Даже если она имела в виду коммунистические идеалы, в её слова всё равно трудно поверить.

Как бы там ни было, но, вернувшись в Москву, Лили сказала встречавшей их Рите Райт:

«Володя написал гениальную вещь!».

«Читка» ПОЭМЫ

8 марта 1923 года в Политехническом музее состоялся интернациональный митинг «Революция и литература», на котором Маяковский прочёл стихотворения «Париж», «Левый марш» и «III Интернационал». Последний стих завершался строками:

*«Мы идём! / Штурмуем двери рая.
Мы идём. / Пробили дверь другим.
Выше, наше знамя! / Серп, / огнём играя,
обнимайся с молотом радугой дуги.*

*В двери эти!
Стар и мал!
Вселенься, Третий
Интернационал!»*

Среди тех, кто выступал в Политехническом, был молодой турецкий поэт Назым Хикмет, который впоследствии написал:

«На этом вечере перед выступлением я очень волновался. Но Маяковский сказал мне, успокаивая:

– Послушай, турок, не бойся, всё равно не поймут».

Вскоре состоялось представление поэмы «Про это» близкому кругу людей. Среди приглашённых были Лев Гринкруг и известный в ту пору журналист Михаил Ефимович Кольцов (Моисей Ефимович Фридлянд), который привёл с собой своего младшего брата, художника-карикатуриста Бориса Ефимовича Ефимова (Фридлянда), оставившего воспоминания:

«Помню огромную комнату, переполненную людьми, нестройный гомон голосов. Маяковский был, по-видимому, в отличном настроении, оживлён, приветлив, произносил шуточные, забавные тосты».

Пётр Незнамов:

«Припоминается, что «просочился» на чтение поэмы и Гроссман-Роцин».

Как видим, опять Иуда Гроссман-Роцин оказался среди самых-самых близких товарищей поэта. Стало быть, и к анархизму Маяковский относился с прежним благоговением.

Прибыл и нарком Луначарский с супругой Натальей Ро-

зенель, которая потом написала:

«Приехали мы в Водопьяный переулок, когда большинство приглашённых уже собралось...

На этом вечере я впервые увидела Лилю Юрьевну Брик, тоненькую, в чёрном платье, с гладко причёсанными тёмно-рыжими волосами...

Запомнился мне Осип Максимович Брик, любезный и корректный, Асеевы, Борис Пастернак, Гроссман-Роцин, Малкин, Шкловский. Посреди комнаты художник Давид Петрович Штеренберг очень оживлённо убеждал в чём-то Маяковского...

Всё моё внимание невольно фиксировалось на Маяковском. Большого роста и при этом очень складный, с широкими, уверенными движениями, хорошо посаженной круглой головой и внимательным взглядом золотисто-карих глаз, он вдруг улыбался как-то очень молодо и по-мальчишески застенчиво, и от этой улыбки у его собеседника сразу исчезала всякая скованность при общении с ним».

В этих воспоминаниях Натальи Розенель вызывает удивление лишь упоминание Шкловского, что он, мол, присутствовал на той читке. А Шкловский в это время был ещё эмигрантом и жил в Берлине. В страну Советов он вернулся лишь через пять месяцев.

Борис Ефимов:

«Наконец, всё стихло. Началось чтение.

Читал Маяковский с огромным темпераментом, вырази-

тельно, увлечённо. Мощно звучал красивый голос поэта».

Александр Родченко:

«Читал Володя с необычайным подъёмом».

Пётр Незнамов:

«Маяковский придавал своему произведению большое значение, он настаивал на этой поэме и читал её прекрасно, подпевая в том месте, где «мальчик шёл, в закат глаза уставив»».

Наталья Розенель:

«В этот вечер Владимир Владимирович был как-то особенно в ударе. Впечатление было ошеломляющее, огромное. Анатолий Васильевич был совершенно захвачен поэмой и исполнением».

Борис Ефимов:

«Я слушал с напряжённым вниманием, но скоро, к немалому своему огорчению, обнаружил, что сложный смысл ускользает от меня, и содержание новой поэмы, во всяком случае, гораздо труднее для восприятия, чем ранее знакомые стихи Маяковского. Осторожно поглядывая на лица слушателей, я видел на них сосредоточенное, «понимающее» выражение, что ещё больше смутило меня.

После чтения началось обсуждение, живое, страстное».

Луначарский с женой, видимо, сразу после завершения «читки» уехали, поэтому Наталья Розенель написала в воспоминаниях:

«Обмена мнениями не было...

Помню состояние какого-то лёгкого поэтического опьянения, в котором мы возвращались домой».

1800 строк

Та мартовская ночь, когда завершилась читка новой поэмы Маяковского, а гости разъезжались по домам, была ещё по-зимнему метельной. Наталья Розенель вспоминала:

«В машине Анатолий Васильевич говорил мне, что сегодняшний вечер особенно убедил его, какой огромный поэт Маяковский.

– Я и раньше знал это, а сегодня уверился окончательно. Володя – лирик, он тончайший лирик, хотя он и сам не всегда это понимает. Трибун, агитатор и вместе с тем лирик. А ты обратила внимание на глаза Маяковского? Такие глаза могут быть только у талантливого человека. У него глаза, как у большой, очень умной собаки. (У Анатолия Васильевича «собака» – было одним из самых ласкательных слов.)...

Мне редко приходилось видеть Анатолия Васильевича в таком радостно возволнованном настроении».

Надо полагать, что именно так оно и было – ведь Маяковский был великолепным чтецом, а свои произведения читал и вовсе бесподобно.

В марте 1923 года произошло ещё одно событие, на этот раз чрезвычайное – у Владимира Ильича Ленина случился третий инсульт. Но страну оповестили об этом не сразу, по-

этому поэт-лефовец всё ещё был во власти созданной им поэмы. С нею надо было ознакомить публику, и на улицах Москвы появились афиши, зазывавшие граждан послушать это новое произведение в исполнении автора.

Одна из таких афиш попала на глаза Луначарскому, и 27 марта он написал Маяковскому письмо:

«Дорогой Володя! Я нахожусь всё ещё под обаянием Вашей прекрасной поэмы. Правда, я был очень огорчён, увидя на афише, объявляющей о чтении, и рекламу относительно каких-то несравненных или невероятных 1800 строк.

Мне кажется, что перед прочтением такой великолепной вещи можно ужас и не становиться на руки и не дрыгать ногами в воздухе. Эти маленькие гримасы, которые были мимиками, когда Вы были поэтическим младенцем, плохо идут к вашему возмужавшему и серьёзному лицу. Предоставьте их окончательно Шершеневичу. Это так, маленький упрёк потому, что я Вас вообще люблю, а за последнее Ваше произведение – втройне».

Эти слова можно дополнить воспоминаниями Натальи Розенель:

«...некоторые выпады Маяковского огорчали Анатолия Васильевича...

Ещё большие огорчали его какие-то отголоски прежней, дореволюционной бравады, изредка появляющейся у Маяковского в 20-х годах и о которой Анатолий Васильевич говорил, что это было уместно до 1917 года: «pour epater les

bourgeois» («чтобы ошарашить буржуа» – франц.), – но нам это ни к чему».

К той же поре относится ещё одно высказывание Луначарского:

«Несмотря на то, что я сильно поспорил с Влад. Маяковским, когда он, перегибая палку, начал доказывать мне, что самое великое призвание современного поэта – в хлёстких стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице, в душе я был доволен. Я знаю, что Маяковского в луже на Мясницкой улице долго не удержишь, а это почти юношеский (ведь Маяковский до гроба будет юношей) пыл и парадокс гораздо приятнее, чем та форма «наплеви́зма» на жизнь, которой является художественный формализм при какой угодно выпренности и жреческой гордыне».

Публичные читки поэмы «Про это» продолжались. И всё чаще раздавались голоса:

– Не понимаю! Что хотел сказать автор?

Попытки понять

29 марта 1923 года вышел первый номер журнала «Леф», в котором была напечатана поэма «Про это». Вскоре она вышла отдельным изданием, и Лили Брик, отвечая на многочисленные вопросы читателей, о чём это произведение, говорила:

«Поэма «Про это» автобиографична. Маяковский за-

шифровал её».

О чём же она? Что хотел скрыть её автор? Что зашифровал?

В. В. Катанян, как бы тоже отвечая на подобные вопросы, написал:

«Чем понятнее стихи, тем они непоэтичнее – поэма сложна».

Маяковский и сам понимал это. Поэтому предварил её прологом, который назвал *«Про что – про это?»*. В нём есть такие радостно-оптимистичные строки:

*«Эта тема придёт, / прикажет: / – Истина! –
Эта тема придёт, / велит: / – Красота! –
И пускай / перекладиной кисти раскистены –
только вальс под нос мурлычешь с креста».*

Но далее следуют слова совсем другого настроения:

*«Это хитрая тема! / Нырнёт под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь / – посмели забыть её! –
затрясёт; / посыпятся души из шкур».*

После десяти таких же интригующих четверостиший Маяковский, наконец, подводит итог:

*«Эта тема день истемнила, в темень
колотись – велела – строчками лбов.*

*Имя / этой / теме:
любовь».*

Впрочем, последнее слово (да ещё особо выделенное) было только в рукописи. Во всех же напечатанных поэмах вместо слова «*любовь*» стоит многоточие. Что хотел сказать этим поэт? Что любовь – всего лишь одна из тем поэмы? Что есть и другие, не менее важные?

Бенгт Янгфельдт:

*««Про это» полна скрытых и явных цитат из Достоевского, любимого писателя Маяковского. Это касается и собственно названия, которое заимствовано из «Преступления и наказания». Когда Раскольников говорил **про это**, он имел в виду своё преступление».*

А что скрыл под местоимением «*это*» Маяковский?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, приглядимся к тому, с чего поэма начинается.

Первая её глава называется «*Баллада Редингской тюрьмы*». И сразу же (во втором четверостишии поэмы) представляются адреса главных её героев и сами герои:

«Лубянский проезд. / Водопьяный...

«Он» и «она» баллада моя.

Не страшно нов я.

*Страшно то, / что «он» – это я
и то, что «она» – / моя».*

Затем называется время действия поэмы – канун Рождества, то есть 6 января. И Маяковский задаёт вопрос, который напрашивается сам собой (орфография автора):

*«При чём тюрьма? / Рождество. / Кутерьма.
Без решёток окошки домика!
Это вас не касается. / Говорю – тюрьма.
Стол. / На столе соломинка».*

В рукописях сохранился вариант:

*«А при чём в балладовой драме тюрьма...
Это никого кроме меня не касается».*

Конечно, российским читателям и слушателям, которые в массе своей были не очень образованными, трудно было понять, с чего это вдруг в поэме о любви появилась тюрьма. Да ещё какая-то «Редингская». Но ближайшему окружению Маяковского это название было хорошо знакомо – именно так («Баллада Редингской тюрьмы») называлась поэма ирландского поэта, писателя и драматурга Оскара Уайльда, написанная в 1897 году и в следующем году опубликованная. На русском языке она вышла в 1915 году (в переводе Валерия Брюсова).

Уайльд и Маяковский

Оскар Уайльд в 1895 году был приговорён к двум годам каторжных работ и полтора года провёл в тюрьме города Рединга графства Беркшир. В его «Балладе» есть посвящение, которое Брюсов перевёл так:

«Памяти К. Т. В., бывшего кавалериста Королевской Конной гвардии. Скончался в тюрьме Его величества Рэдинг, Беркшир, 7 июля 1896 года».

«К. Т. В.» – это инициалы Чарлза Томаса Вулриджа (Charles Thomas Woolridge), тридцатилетнего конногвардейца, приговорённого к смертной казни за убийство своей жены (из-за ревности) и казнённого в Редингской тюрьме.

Обратим внимание, что Маяковскому в 1923 году тоже исполнялось тридцать лет. И казнили Чарлза Вулриджа 7 июля 1896 года, то есть в тот самый день, когда Маяковскому исполнилось три года.

«Баллада» Оскара Уайльда написана под псевдонимом «С.З.З.» – это был тюремный номер Уайльда (галерея С, третья площадка, камера три). Номер тюремной камеры Маяковского в Бутырской тюрьме тоже оканчивался на тройку – 103.

В 1915 году, когда в России зачитывались переводом Брюсова, Владимир Маяковский написал первую свою поэму «Облако в штанах» и познакомился с Лили Брик.

В «Балладе Редингской тюрьмы» рассказывается о казни ревнивого британца, убившего свою жену. А тридцатилетний российский поэт тоже был приговорён – к двухмесячной разлуке со своей женой, которую Маяковский приревновал к Краснощёкову.

Так что ближайшее окружение Владимира Владимировича, которое было хорошо знакомо с поэмой Оскара Уайльда, сразу понимало, откуда в поэме «Про это» слово «*тюрьма*».

Но тут вновь возникают загадки. Если глава названа точно так же, как поэма Уайльда, то эпиграф тоже должен быть из неё. Но не тут-то было! Эпиграф другой:

*««Стоял – вспоминаю. / Был этот блеск.
И это / тогда / называлось Невою».
Маяковский, «Человек»».*

Это означает, что в поэме «Про это» рассказывается не только о «*редингской тюрьме*», но что-то будет взято и из поэмы «Человек».

Вспомним эту поэму Маяковского, перечитаем-ка её ещё разок. И сразу возникнет ощущение, что написана она по той же самой причине, из-за которой пришлось писать поэму «Про это»: поэт приревновал свою любимую. К кому? В «Человеке» (в главке «Жизнь Маяковского») написано так:

*«Повелитель Всего – / соперник мой,
мой неодолимый враг.*

*Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтоватых восхитительные полосы...»*

В главке «Страсти Маяковского» описание соперника продолжено:

*«Череп блестит, / хоть надень его на ноги,
безволосый, / весь рассиялся в лоске.
Только / у пальца безымянного / на последней фаланге
три / из-под бриллианта / выщетинились волосики».*

И вот тут-то возле этого лысого соперника неожиданно возникает возлюбленная поэта, которая произносит названия поэм Маяковского:

*«Вижу – подошла. / Склонилась руке.
Губы волосикам, / шепчут над ними они,
«Флейточкой» называют один,
«Облачком» – другой,
третий – сияньем неведомым
какого-то / только что / мною творимого имени».*

Возмущённый поэт спрашивает, восклицая:

*«Что это? / Ты? / Туда же ведома?
В святотатстве изолгалась!»*

И у Маяковского вспыхнула ревность. Случилось это в

1916 году. То есть через год после знакомства с Лили Юрьевой. И после того, как была написана поэма «Флейта-позвоночник». Надо полагать, что Лили Юрьевна в тот момент вела себя как всегда вызывающе, ни с кем и ни с чем не считаясь и ни от кого ничего не скрывая.

Поэт, уличивший любимую в измене, мстить ей не стал – видимо, «Баллада Редингской тюрьмы» постоянно напоминала ему о том, как сурово и неотвратимо карается мщение. И он написал в «Человеке»:

*«Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах / верхом / «Закон»,
на сердце цепь – / «Религия»».*

И Маяковский решил покончить с собой. По телефону сообщил об этом Лили Брик – ведь из жизни он уходил из-за неё. Выстрелил. Произошла осечка. Лили Юрьевна приехала, забрала его с собой. У неё дома они стали играть в карты.

Так, ссылаясь на свидетельства Лили Брик, описывают тот инцидент практически все биографы Маяковского. Правда, никто не указывает, когда именно случилась эта история – в 1916 или в 1917 годах: Лили Юрьевна запомнила. Но ознакомившись с поэмой «Про это», можно с уверенностью сказать, что всё произошло в 1916 году. Завершив писавшуюся тогда поэму «Война и мир», Владимир Владимирович сразу же приступил к созданию следующего произведе-

ния – о своём несостоявшемся самоубийстве. И написал, что он принял яд и вознёсся на небо. Однако поразмышляв там какое-то время («Сколько их, веков, успело уйти, в дребезги дней разбилось о даль...»), решил вернуться на Землю. И он возвращается. И вновь оказывается в городе на Неве. Зачем? Чтобы отомстить («Проснулись в сердце забытые зависти»). И поэт покупает оружие мщения:

*«Антиквар! / Покажите! / Покупаю кинжал.
И сладко чувствовать, / что вот / перед мстью я».*

Но мщения не получилось. Ведь даже улица, на которой жила любимая, изменила название: была Жуковской, а стала, как говорят ему:

*«Она – Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой»
Кто, / я застрелился? / Такое загнут!»*

Но любовь, которой так гордился поэт, ушла, закончилась. И он с горечью подводит итог:

*«Петлёй на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне / наручники,
любви тысячелетия...»*

Если «Флейта-позвоночник» воспевала Лили Брик, то по-

эма «Человек» была явно направлена против неё. Не Лили Юрьевна восстановила против этого произведения Алексея Максимовича Горького? Слишком много доводов подтверждают такую версию.

Но потом отношения восстановились. И поэму «Человек» поэты-символисты назвали шедевром. И любовь, вроде бы, вернулась. Но ненадолго. В 1923 году поэту пришлось вновь сочинять поэму о любви и ревности.

Что же вышло из-под пера Маяковского?

Содержание поэмы

Итак, на столе у героя поэмы «Про это» оказалась спасительная соломинка – телефон. И Маяковский позвонил. Ей. Но она говорить с ним не пожелала, о чём поэту сообщила взявшая трубку кухарка Аннушка. И поэт сразу же начал рыдать и превратился в плачущего медведя.

Почему медведя?

Бенгт Янгфельдт понял это так:

««Медвежья» метафора заимствована у Гёте, который в стихотворении «Парк Лили» представляет себя ревнивым медведем».

Но Гёте здесь, скорее всего, не причём. Маяковский, любивший играть словами, сам придумал себе это прозвище. Из своих инициалов: буква М и две буквы В, то есть МВВ. Произносилось это как «*Ме две Ве*» или (сокращённо) «*Мед-*

ве». Маяковский даже написал (во второй главе), как встретили его в каком-то зале, куда он случайно попал:

«Медведь, / медведь, / медведь, / медве-е-е-е...»

Впрочем, это не столь уж важно. Выражаясь словами самого Маяковского:

«Это никого кроме меня не касается...

Говорю – я медведь...

Косматый. Шерстью свисает рубаха».

В облике этого медведя поэт и отправляется в вояж:

«Белым медведем / взлез на льдину,

плыву на своей подушке-льдине».

Доплыв до Петрограда, он увидел у Невы самого себя, а точнее, героя поэмы «Человек», который тут же обратился к нему:

«– Владимир! / Остановись! / Не покинь!..

Семь лет я стою. / Я смотрю в эти воды,

к перилам прикручен канатами строк.

Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.

Когда ж, / когда ж избавления срок?..

Пока / по этой / по Невской / по глыби

спаситель-любовь / не придёт ко мне,

*скитайся ж и ты, / и тебя не полюбят.
Греби! / Тони меж домовых камней!»*

Но «*подушка-льдина*» уносит героя поэмы в даль дальнюю от Невы. На этом первая глава завершается.

Во второй главе (она называется «*Ночь под Рождество*») рассказывается о том, куда понесло медведя-Маяковского дальше. Сначала он объявляется на Пресне, где живут его мать и сёстры, предлагая пойти вместе с ним на Неву, чтобы спасти стоящего на мосту человека:

«Он ждёт. / Мы вылезем прямо на мост».

Но мать и сёстры не рвутся возвращать сыну и брату его любимую, которая (в который уже раз) изменила ему. И Маяковский с горечью восклицает:

*«Так что ж?! / Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?»*

И поэт отправляется в кругосветное «*Путешествие с мамой*». Но всюду, куда бы они ни приехали («*Париж, Америка, Бруклинский мост, Сахара*»), люди пьют чай, демонстрируя этим, что жизнь состоит не только из любви и революций.

Тогда Маяковский идёт к своему знакомому, который женат на Фёкле Давидовне. В черновиках она названа Розой

Давидовной. В рукописи поэмы у героинь настоящие имена: у Лили Юрьевны – Лиля, у матери Маяковского – Александра Алексеевна. Стало быть, и Роза Давидовна вполне могла быть реально существовавшим человеком. Но кто она? И кто он – тот знакомый, к которому заглянул поэт?

Логика описанной Маяковским ситуации подсказывает: побыв в своей семье и поездив по планете, главный герой поэмы мог отправиться к своим сослуживцам.

Где тогда служил Маяковский? Мы предположили, что в ОГПУ. Кто был его непосредственным начальником? Меер Трилиссер.

Стало быть, Маяковский описал визит к своему гепеушному шефу («хозяину»), который встречал зашедшего к нему в гости подчинённого такими словами:

*«Маяковский! / Хорош медведь! –
Пошёл хозяин любезностями медоветь...»*

И начальник поэта начал представлять своих гостей:

*«А это... / Вы, кажется, знакомы?! –
Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнёры.
Усища – / к стёклам ламповым пыльники –
из-под столов пошли собутыльники.
Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли?»*

*Идут и идут процессией мирной.
Блестят из бород паутиной квартирной.
Все так и стоят столетья, / как было.
Не бьют – / и не тронулась быта кобыла».*

Затем (и, пожалуй, впервые в творчестве Маяковского) появляются насекомые, которые дадут название предпоследней его пьесе:

*«С матрацев, / вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки».*

Зашедшего в гости к шефу Маяковского приветствовали также вожди и кумиры разных эпох:

*«Исус, / приподняв / венок тернистый,
любезно кланяется.
Маркс, / впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательскую ляжку».*

В черновиках вместо Маркса стоит Ленин.
И вдруг среди гостей Маяковский замечает:

*«Но самое страшное: / по росту, / по коже одеждой,
/ сама походка моя! – в одном / узнал – / близнецами
похожи – себя самого – / сам / я».*

И все пьют чай (и не только!):

*«Весь самовар рассылся в лучики –
хочет обнять в самоварные ручки».*

Маяковский, расстроенный тем, что чаёвничают всюду, отправляется в Водопьяный переулок, в квартиру, где живёт его любимая, оставившая поэта. Там тоже гости. Все пьяны («*в тостах стаканы исчоканы*»). Все танцуют («*танцы, полами исмарканные*»). А с ними танцует и его любимая. Маяковский восклицает:

*«Я день, / я год обыденщине предал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он / жизнь дымком квартирошным выел.
Звал: / решишь / с этажей / в мостовые!».*

И тут же добавляет, спрашивая:

*«Но где, любимая, / где, моя милая,
где / – в песне – / любви моей изменил я?»*

И поэту хочется с криком ворваться в квартиру, где все пьяны и танцуют:

*«Скажу: / – Смотри, / даже здесь, дорогая,
стихами грома обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя / в проклятьях моих / обхожусь».*

Иными словами, Маяковский не хочет мстить, зная, какая кара ему за это мщение угрожает.

Поняв, что и любимая помочь ему не может, поэт вновь отправляется в путь, летит над Россией, над Европой. И вот он уже над Соборной площадью Московского Кремля – на куполе колокольни Ивана Великого. Москва отмечает Рождество:

*«В ущелья кремлёвы волна ударяла:
то песня, / то звона рождественский вал».*

И в тот самый момент, когда Маяковский (а если точнее, то его поэтический образ) оказался в Кремле (и даже над ним), его вдруг стали вызывать на дуэли (то есть, видимо, очень резко критиковать):

*«Спешат рассчитаться, / идут дуэлянты.
Щетинясь, / щерясь / ещё и ещё там...
Газеты, / журналы, / зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругнёт / за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо! / Хватай, клевеца!»*

Напрасно поэт пытался объяснить, что он – не настоящий Маяковский («Я только стих, / я только душа»), ему тут же нёсся ответ:

*«— Нет! / Ты наш враг столетний.
Один тут уже попался — / гусар!»*

Вопросы, обращённые к стоявшему на куполе храма поэту, и его ответы на них очень напоминают допросы, которое проводило ГПУ. И рассказы Осипа Брика, который знакомил своих собеседников с приёмами и ухватками следователей-гепеушников. При этом Осип Максимович наверняка подкреплял лубяньские истории строками из «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда:

«В тюрьме растёт лишь Зло...

*Живут здесь люди в кельях узких,
И тесных, и сырых,
В окно глядит, дыша отравой,
Живая Смерть на них...*

*Поят водою здесь гнилою,
Её мы с илом пьём;
Здесь хлеб, что взвешан строго, смешан
С извёсткой и с песком;
Здесь сон не дремлет: чутко внемлет,
Крича, обходит дом».*

Затем в поэме «Про это» следовал эпизод, в котором говорилось о расстреле главного её героя:

*«...со всех винтовок, / со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов, / с десяти, / с двух,
в упор – / за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевести дух,
и снова свинцом соряют».*

Но кто тот «гусар», про которого сказано, что он «уже попался» расстрельщикам?

Янгфельдт считает, что это «ссылка на Лермонтова».

Но, во-первых, за сто лет до написания этих строк Михаилу Лермонтову было всего девять лет, и он не был ещё гусаром. Во-вторых, Лермонтов погиб на дуэли, а Маяковский описал один из тех расстрелов, которые совершались тогда чуть ли не ежедневно (Осип Брик рассказывал о них достаточно красочно). Поэтому «гусар» вспоминается совсем другой – тот, который с марта 1916 года служил в 5-ом Гусарском Александрийском полку, и который был расстрелян чекистами в августе 1921 года. Звали его Николай Степанович Гумилёв.

Маяковский словно предчувствовал, что ОГПУ расправится и с ним. Вот как он описал окончание своего расстрела:

*«Окончилась бойня. / Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.*

*Лишь на Кремле / поэтовы ключья
сияли по ветру красным флагом».*

Можно с большой долей достоверности предположить, что Осип Брик нагонял страху на тех, кто слушал его рассказы. И Маяковский уже тогда мог побаиваться того, чтобы стать узником Лубянки, и он (с его прекрасной памятью) мог даже подсказывать Осипу строки Оскара Уайльда, описавшего узников Редингской тюрьмы:

*«Забьты всеми, гибнем, гибнем
Мы телом и душой!..
Те плачут, те клянут, те терпят
С бесстрастностью лица...»*

Описанием расстрела вторая глава заканчивается. Третья названа довольно многословно:

*«ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ...
Прошу вас, товарищ химик, заполните сами!»*

Здесь Маяковский говорит, что пули, потраченные на его расстрел, замолчать его не заставят:

*«Я не доставлю радости
видеть, / что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте».*

Самоубийство поэта тоже не устраивает:

*«Верить бы в загробь! / Легко прогулку пробную.
Стоит / только руку протянуть –
пуля / мигом / в жизнь загробную
начертит гремящий путь».*

Маяковский нашёл другой путь, о котором Бенгт Янгфельдт написал:

*«Заключительная часть поэмы написана в форме прошения, обращённого к неизвестному химику тридцатого века...
...он просит химика воскресить его, речь идёт о воскрешении во плоти и крови. Вторя идеям философа Николая Фёдорова о «воскрешении мёртвых» и теории относительно Эйнштейна (которые он с энтузиазмом обсуждал весной 1920 года с Якобсоном), он видит перед собой будущее, при котором все умершие вернуться к жизни в своём физическом облики».*

Николай Фёдорович Фёдоров был русским религиозным мыслителем и философом, которого называли «московским Сократом». Его уважали и им восхищались Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Александр Чижевский, Павел Флоренский и многие, многие другие известные люди начала XX века. Николай Фёдоров намеревался, собирая молекулы и атомы, «сложить их в тела отцов». С этими идеями был хорошо знаком и Владимир Маяковский.

Мнения слушателей

3 апреля в Центральном клубе московского пролеткульта состоялся диспут на тему «Футуризм сегодня», на котором Маяковский читал отрывки из своей новой поэмы. Завершая дискуссию, он сказал:

«Здесь говорили, что в моей поэме нельзя уловить общей идеи. Я читал, прежде всего, лишь куски, но всё же и в этих прочитанных мною кусках есть основной стержень: быт. Тот быт, который ни в чём не изменился. Тот быт, который является сейчас злейшим нашим врагом, делая из нас мещан

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.